

Нехама (Нюся) Вайсман

ДНЕВНИК



Мы шли по булыжной мостовой улицы Ленина в родном Могилев-Подольске в последнюю нашу школьную ночь, взявшись за руки, пели песни и все еще были живы...

Моя лучшая школьная подруга — Ната Калашникова, как и я, приняла, наконец, решение поступать в мединститут. Натаина мать, учительница, доверила моему отцу миссию — сопроводить ее дочь вместе со мной в Киев. 21 июня нас обеих, окончивших школу с золотыми аттестатами, приняли в институт. А

ночью началась война.

Папа умолял меня остаться в Киеве и эвакуироваться вместе с другими студентами, но ведь я дала слово Наташиной маме привезти ее домой (держать данное слово было во мне воспитано сизмальства), и я не могла поступить иначе. Но главное — меня ждала мамочка! Нам нельзя разлучаться!

Ночью наш Могилев-Подольский бомбили, на площади появились первые разрушенные дома. Проводили мобилизованных товарищей, многие собрались эвакуироваться.

Нам на поезде уехать не пришлось — весь заработок израсходовали на поездку единственной дочки в Киев, и в доме было всего девяносто рублей... Мой двоюродный брат Лева, брат его жены Иосиф и их друг Шамис с семьями (шестеро маленьких детей), мои пожилые родители и я двинулись в путь своим ходом. Почти все время, сбивая ноги, шли пешком. На подводе — только дети, жена брата с больными ногами и кое-какие захваченные нами вещи. Над головами стали проноситься самолеты. Заслышав их зловещий гул, мы бросались на землю, прятались в канавах. Помню, как нашли в поле неподалеку от леса огурец и, разрезав его на кусочки, съели всей семьей. Сладостный вкус его до сих пор вспоминаю как дар божий.

Дороги были забиты беженцами. Слышался все приближающийся гул артиллерии, гул войны. Помню, как страшна была переправа через Буг, по понтонному мосту, где скопились сотни кричащих, заплаканных людей. Помню и одного советского лейте-

нанта в обнимку с молодой-украинкой, угощавшей его вишнями. Они сидели у белой мазанки, спокойные и отрешенные от нарастающей паники. На мой вопрос, близко ли немцы, он хохотнул, и сердце мое сжалось от недобрых предчувствий. Его расстегнутая гимнастерка, следы оторванных кубиков говорили о многом...

Помню ночевку в Тульчине. Я познакомилась с командиром стоявшей там части, умоляла взять меня с собой, чувствовала — нам с родителями не уйти, не успеть перейти Днепр. Лучше погибнуть на фронте, принести пользу Отчизне, чем быть расстрелянной или задушенной фашистами. «Хорошо! Мы выходим рано. В пять утра я вас разбужу». Когда я проснулась, солнце уже стояло высоко. Была тишина. По лицам родителей, по виноватым глазам поняла: часть ушла. Не могли отец и мать отправить свою единственную дочь в неизвестность. Я горько рыдала, понимая всю безнадежность нашего положения. Не могла я знать тогда, что судьба распорядится по-своему и в страшном пекле войны мы уцелеем. И, может быть, именно потому, что будем вместе, дыханием своим спасем друг друга.

Настигли нас немцы в селе Терновка близ Белой Церкви, неподалеку от Днепра. Мы не успели на нашем допотопном транспорте перебраться через спасительную реку. Это удалось семье моего будущего мужа. А мы — мы в глинобитной брошенной хатенке лежим, дрожа, на полу, перепуганные дети, до времени повзрослевшие. С улицы входит бледный как смерть мой отец: «Я видел первый немецкий танк...» Брызнувшие у меня слезы заставляют его продолжать: «Нюсенька, ты увидишь, наступит время, и я скажу: я видел первый советский танк». Поразительным было его пророчество. 19 марта 1944 года он повторит эти слова...

А тогда что мы могли делать? Дорога вперед была отрезана. Остаться в чужой деревне и ждать расстрела? Решили ночами лесом добираться до дому. Там ведь много людей, земляков. Не все уехали. Дома и стены помогают. Авось удастся спрятаться.

Вижу и сегодня длинный шлях, по которому, ближе к обочине, тянут кони нашу подводку. Только начинает светать. Добраться бы скорее до леса. Вдруг открывается дверь одной из хат, рассыпанных вдоль дороги. Выглядывает старуха и внезапно громко кричит, — будит, по-видимому, расположившихся в хате солдат: «Эй, жида поихалы!» Нам вслед раздаются выстрелы. Бог на сей раз миловал.

Мы все свободно говорим по-украински, а стремительнодвигающиеся в огромных автобусах солдаты вермахта мало обраща-

ют внимания на нашу подводу. Я по самые глаза завязана платком (вдруг привлеку их внимание). Господи! Какие же у них автобусы! Целые дома. Да мы в жизни таких не видели. И на каждом: «Берлин — Москва». Вокруг валяются обертки от шоколадных плиток. Голодные дети начинают плакать. «Тише! Тише!..» Наконец, благодатный покров леса принимает нас. Деревня! В лесу стоят рубленые избы, так непохожие на расписные мазанки украинских крестьян. Мы — в русской старообрядческой деревне Пилипы. Нас окружают люди, жалеют, несут кто хлеб, кто яичко, кто молоко. Боже, какое счастье! Нас отводят в конюшню. Мы можем отдохнуть, переночевать. Я укладываюсь на пахучую солому. Слышно, как кони хрумкают сено, и так сладко засыпаешь, как в детстве в люльке.

Вдруг стук. Прибегает один из спасителей, шепотом предупреждает, что недобрый человек спешно покинул деревню: он может выдать нас. Подняв спящих детишек, мы прощаемся с этим раем и вновь пускаемся в путь. Перед самым Могилевом нас останавливает немецкий патруль. На руках у нас справка — разрешение на проезд, выданное каким-то немецким человеческим офицером, пожалевшим детишек (Лева изъяснился с ним на ломаном полуеврейском-полунемецком языке).

Домой нас не пустили. Да и не осталось там ничего. Соседи, близкие и дальние, разграбили все дотла. Уже после освобождения мне кое-какие семейные реликвии удалось отыскать.

Нас загнали в самый неприглядный район города, а через некоторое время возвели высокие каменные стены. За выход — расстрел. Гетто. Велели пришить к одежде желтые звезды-магендовиды, чтоб каждый мог сразу определить еврея. Мы были обречены на голод, болезни, медленное умирание.

Но самое страшное, для меня во всяком случае, было не это. Вчерашние наши соседи, земляки, друзья, школьные товарищи, горожане, крестьяне соседних сел — все бросали нам в лицо по-украински одно и то же: «Досыть. Двадцать тры рокы вы пылы нашу кров!» Маруся Пичкур, моя соученица, кричала мне почти ежедневно через забор гетто: «Нюся, там вже нимци для вас ямы копають!» — и ухмылялась кривой радостной усмешкой.

А подруга, с которой были прожиты тесно все мои школьные годы, переехала в новый особняк: ее отец стал «примаром» города. Ната хотя и навестила меня однажды, но в страшный час облавы, когда немцы забирали евреев в лагеря, а я, мало похожая на еврейку, босиком, с косами на плечах и в платочке, добралась до нее, она отказала мне в просьбе спрятаться в их погребке в старом

доме на Дачной, в котором мы столько раз играли и мечтали вдвоем: «Ну, знаешь ли, неудобно, папа занимает такое положение...»

— Ната, ты что, замуж вышла? За кого?

— Ну, кем мог стать молодой человек при советской власти? За шофера.

Я ушла. Я выжила. Я избежала облавы: спряталась в погребе разрушенного наводнением дома. А наша соученица Женя Ваксенберг, жившая на другом от меня конце города, которую Ната могла бы, но и не подумала спасти, попала в Печерский лагерь за Бугом. Ее, как и сотни других, схваченных в тот страшный час, расстреляли...

А когда во второй раз началась облава, нашу семью спас простой украинский пекарь Иван Слипенький. Спрятал родителей в погребе и, нацепив на меня крестик, посадил со своими детьми в комнате. Зашли и ушли немцы, не обнаружив в его квартире ничего подозрительного. Да благословит Бог его потомков! В тысячный раз убеждаюсь: ни образование, ни высокий общественный статус, ни генетический код не определяют всецело человека. Только честное, доброе, бескорыстное человеческое сердце. А оно может быть у человека любой национальности. Вспоминаю не изменившееся отношение ко мне моих соучеников Гали Дубийчук и Жени Заболотного, поженившихся к тому времени и открывших небольшую лавчонку близ гетто.

Помню полные сострадания глаза крестьянина деревни близ Ямполья, щедро отсыпавшего нам муки. Я чувствовала, ему хотелось помочь. Ах, если б я могла убежать в их деревню! Но ведь путь туда далек, и кто поручится за его соседей?

Кто поручится? Ведь даже некоторые из наших учителей, уважаемых нами, стали неузнаваемыми. Наш классный руководитель Миколайчук Илья Иванович, математик, стал директором гимназии, а мы стали для него никем. Елизавета Ивановна Карягина, русовед, разъезжает в открытом ландо с офицерами (ее алиби в глазах оккупантов — дочь бывшего священника).

А школьный делопроизводитель, всегда с угодливо согнутой спиной, продававший нам зошиты (тетради) по 12 копеек за штуку, стал начальником украинских полицаев. Он выпрямился, и нагайка его со свистом рассекала воздух, и не только воздух... Мы попали в царство оборотней, надежда на спасение таяла. Я больше стала полагаться на погреба и чердаки. И уже после освобождения, студенткой в Киеве, сохраняла выработанный в гетто условный рефлекс: «Ой, девочки, вот здесь хорошо спрятаться!»

Они недоуменно смотрели на меня.

Как мы жили, что ели? Поначалу были еще вещи, можно было обменивать на продукты у крестьян. А потом все вещи кончились.

Приходилось в борьбе за существование браться за любую работу. Помню, как мы с отцом вычищали от грязи покинутые после наводнения дома на Греческой, превращенные в отхожие места.

А когда выпадала свободная минутка, я продолжала жадно читать книги, часто валявшиеся в покинутых, ограбленных домах. Книги грабителям были не нужны. Сколько я их прочитала! Тургенева, Гончарова, поэтов-символистов, любимого Пушкина. Не рассталась я и с математикой. Но все это заслонить реальную жизнь не могло.

Закрываю глаза — и сегодня вижу длинную вереницу мужчин, женщин, детей, которые пришли к нам еще в добротной одежде, хвалились своим недавним достатком — коврами и мебелью, дивились нашей нищете — и вскоре сами превратились в жалких, исхудалых, больных, пожелтевших (в гетто все заболели эпидемической желтухой), несчастных нищих, умирающих с голоду. Сколько их погибло на наших глазах! Особенно в 42-м году. Зимой на улицах валялись мерзлые трупы — их собирали на подводы, укладывали штабелями и сбрасывали в братскую огромную могилу на Шаргородской горе... Там и по сей день никого не хоронят: слишком густо усеяна костью эта необъятная могила.

Неумелые стихи, но от сердца идущие, написанные карандашом в старой тетради, в которой я начала вести по ночам дневник, — читаются сегодня как документ эпохи, не сумевшей убить душу живую в истребляемом гитлеровцами племени.

Со страниц дневника, написанного обломками разных карандашей, а иногда чернилами, почти выцветшими от полувековой давности, передо мной встают часы, дни, недели, месяцы — годы моей юности, задавленной, но не уничтоженной фашизмом. Почему я обо всем, о чем пишу сейчас, не рассказала раньше, не показала никому своих записей? Радость освобождения, годы учебы в университете, замужество, рождение детей, работа над диссертацией — все как-то отодвигало в необъятную даль будущего мои воспоминания. К тому же хорошо помню, как я, словно холодным ледяным душем, была в первый же день освобождения облита презрительно-снисходительным «Саррочка», произнесенным одним из наших солдат. А в годы учебы в Киеве стала свидетелем борьбы с космополитами, в число которых попали многие из любимых нами всеми преподавателей-евреев (историк Лев Ефимович Кертман, его жена — преподаватель советской литературы Сарра Яковлевна Фрадкина) и писатели, с которых, все равно что

скальпы, снимали их литературные псевдонимы. Я помню страшное собрание в актовом зале университета, когда мы все сидели, словно оцепенелые от страха и боли, а некоторые горячие комсомольцы, делающие карьеру, громили с высокой трибуны своих учителей, шагая по телам и душам новых политических мертвецов... Вспоминаю и ужас сообщения об убийстве Михоэлса, возглавлявшего Еврейский антифашистский комитет; и дело врачей, из-за которого даже в нашем дальневосточном Благовещенске довели до самоубийства своим бытовым антисемитизмом прекрасного врача-гинеколога Хомир, не раз спасавшую тех, кто сегодня ее клеймил.

И я молчала. Подрастали дети. Хотелось оградить их от боли, от нравственных страданий. И молчала.

Свое прошлое, национальность никогда не скрывала. Писала об этом в биографии, заполняя анкеты, об этом говорили все мои документы.

Приведу некоторые сокращенные записи из своего дневника. Сохраняю язык, стиль и даже грамматические и стилистические погрешности. При сокращении слов дополняю их в квадратных скобках.

7 января 1942 года. Семнадцать прожитых лет остались позади, полные огня и жизни, кипучей и радостной... Теперь я сижу за столом, при слепом свете каганца, в сырой комнате, по стенам которой капает вода и лежит снег. Эта комната кажется дворцом по сравнению с теми трущобами, в которых ютятся евреи, высланные из Буковины и Бессарабии. Грязь, холод, голод, эпидемии... Ежедневно у нас по 30–40 минимум и 80–90 максимум мертвецов, которых из-за невозможности копать могилы (на дворе 20–30 градусов мороза) кидают на кладбище, и они замерзают на земле. А что будет весной? Пища собакам. Мне страшно смотреть на близких знакомых: не узнать. Мать и отец — истощены, постарели... Я чувствую, что за семь месяцев войны я стала взрослой — познала горе, лишения, страх. Много крови и слез видала своими глазами. Надежды рухнули как карточный домик. И хотя вера в будущее у меня жива и нетронута, как святыня, но доживу ли я? Доживет ли несколько процентов гонимого еврейского народа? Не знаю. Недаром мама дорогая говорит, что я постарела на пять лет. Мне еще так хочется жить и дожить. По улицам ходят живые трупы, покрытые вшами, жалкие, несчастные. А рядом — насильники, грабители, творившие разбой, убивавшие людей и сжигавшие их трупы на моих глазах. Люди-звери, которые закапывали живыми маленьких детей....

29 января. Где мои милые товарищи? Убиты, живы, ранены?

4 февраля. ...портной-буковинец еле дышит. Чувствуется, что человек тает, как свечка. И не он один. Так умер Р¹. Вчера нам девушка-украинка принесла молока. Она пришла из плена из-под Мариуполя. Ей 18 лет. Но на вид ей можно дать 26, до того она измучена войной и, вероятно, издевательствами. С ней беседовал офицер-немец по-русски о широкой сети шпионажа в С.Союзе. Он сам работал в погранотряде советском у нас в городке...

4 февраля. ...народ гибнет. По городу идет сыпняк, тиф брюшной и др. Боишься впустить человека в дом. Мамуся расстроенная пришла на днях, видела, как вынесли девушку в мокрых рваных трико. Тело ее было в ранах и струпьях, из них сочился гной. Этот труп швырнули в повозку, где лежали 10 других, и повезли. Родная земля! Нужно ли стреляться из-за любви? Где она, моя далекая любовь? Теперь смешно вспоминать о ней. И все же сердце иногда больно защемит. Милые мои далекие друзья Ю., Д., А. и др. «Голубыми туманами наша юность прошла, со словами-обманами ты ушла от меня...»

7 февраля. Возобновились крестовые походы на евреев. Чем виновато это гонимое, жалкое теперь племя? Я лично в себе всегда чувствовала интернационалистку, такой я была всегда. А теперь я должна была понять, что я еврейка. ...Когда уже все люди станут равными, когда каждый поймет, что он человек, а не ариец, славянин или еврей?

8 февраля. Сегодня папка пришел и рассказал о взятии будто бы Киева и вообще о лучшем: инициатива перешла к К.А. [Красной армии]. Сегодня воскресенье, погода чудесная, оттепель, падает снег. И настроение хорошее. В такой день не хочется слушать о плохом, о смерти. В такой день не хочется думать о победе врага. В такой день хочется думать о жизни, о ее радости, о будущем. Хочется верить,

13 февраля. Всю ночь мамуся не спала: страшно нарывал палец, стонала так, что нельзя было уснуть. Я же проснулась тоже не совсем здоровая... Бедный Д. [Дима]. Где-то он и другие мои друзья? Доживу ли я до какой-нибудь встречи с прошлым? Бог весть. У-у, что это я написала? Удобный оборот мысли на бумаге и в обиходе? Ничего! Мои убеждения от этого не пострадают. Только чтоб мамусе стало легче... Ох, как она страдает.

¹ Многие имена в дневнике обозначены буквами или инициалами. Вдруг дневник найдут, и это навредит людям! Некоторые буквы расшифровать уже не могу, забыла.

14 февраля. Японцы заняли Сингапур. Такую крепость — шутка сказать. Стыдно должно быть Англии. Неужели кусок за куском, часть за частью пропадет матушка-земля? Сегодня шла утром по воду. Два часа простояла в погребе за ведром чистой воды. Захожу в комнату и... о ужас! Возле печурки сидит на стуле... мертвец, да, живой мертвец. Весь обросший шерстью, черный, как смоль, длинный горбатый нос кажется еще длинней, спускается на почерневший рот. Грудь, на которой можно пересчитать все ребра, открыта, а остальное тело покрывают лохмотья. Шапка надвинута на глаза, которые блестят жадным огнем голодного волка. Я узнаю его. Это — пекарь Ш. из буковинцев. Три месяца назад он пришел к нам франтом, работал, переворачивая горы, а теперь не может выпросить куска хлеба. Хлеба, из-за которого льются потоки крови. Таких Ш. — тысячи...

21 февраля. Давненько не писала, работая через силу... Вчера умер молодой мужчина, полный энергии и надежды... Даже в это тяжелое время он выкручивался и зарабатывал — и вдруг умер, пролежав два дня. Оставил молодую жену, почти ребенка. Теперь она, Густа, одинокая, несчастная. В этот день погибло еще, вероятно, около сотни. И так каждый день.

28 февраля. ...Вчера видела ужасную картину: знакомая семья буковинцев — старик, старуха, сын 30 лет, бляхар [жестянщик], с женой, сестрой и маленьким чудо-ребенком полутора лет — Германом, славным мальчонкой. Теперь старик и сын уже умерли. Жена сына — в тифозном бараке. Сестра с отмороженными ногами, старуха и ребенок, от которого половины не осталось, ютятся в темном сыром складе, морозный воздух врывается в открытые для света двери, шевеля тряпки на полу и веревках. Дитя только схватило протянутый мной коржик и грызло, а совсем недавно ребенок смеялся и прыгал от имени «Нюся»! Ох, жизнь! Я иногда думаю о себе, анализирую, но как смешно теперь это в сравнении с жизнью.

10 марта. Умерло столько могилевских знакомых! А сколько кандидатов!

11 марта. Вдруг заходит жена пекаря и говорит, что, проходя по улице, видела объявление, содержание которого сводится к тому, что жиданям (евреям) можно ходить по улице только до 11 часов утра, а позже только в особых случаях (заболевание, работа и экстренный вызов). Что же это значит?! Хуже тюрьмы! Население евреев на несколько тысяч больше украинцев в городе (с изгнанниками из Румынии и Буковины, а им нельзя ходить)... Не могу писать, не могу собраться с мыслями.

18 марта — 29 марта (записи о болезни папы). Сколько я на-терпелась в эти дни, перед кем только спину не гнула!..

27 марта. Лед снес мост, построенный немецкими инженерами. Диву дался весь честной народ...

3 апреля. ...Папуся счастлив. Он говорит: пережил это, доживем и до Мессии. Англия начала оккупацию Франции, парижане принимают бомбы, как шоколад, «русы» делают успехи, но пока для нас плохо. Исходят «запасы». У кого нет вещей — тот голоден. У кого есть — продает за бесценок.

16 апреля. Все по-старому. Те же обманы насчет фронта. Полтава и Харьков по газетам взяты К.А. [Красной армией]. А Киев — на языках. Жизнь кругом — кошмар... Дом с решетками. В крайнем окне у решетки покрытая рядом девушка лет 16. Она одна из пяти оставшихся в этом доме, в котором было 26. Растрепанная, с потухшими глазами, с голосом, разрывающим душу, поет или кричит. Кто его знает. Этот стон у нас песней зовется... Копна русых волос упала на невымытый лоб. Красивая, видно. Лицо покрыто смертельной бледностью, рот судорожно раскрывается: «Люди добрые, люди милые, помогите. Дайте хоть что-нибудь мне, несчастной. Помогите!» — голос слышно далеко. Люди смотрят и проходят. Евреи не имеют, крестьяне не жалеют. Девушку эту я знаю, она училась в нашей школе. Ей готовилось радостное будущее. А потом война, смерть отца, тиф, воспаление мозга, сумасшествие. «Помогите!» И мне кажется, что все мы сидим глубоко в земле, за решеткой и кричим «Помогите!» — и никто не хочет помочь, а мир ведь так велик и необозрим. Умерла мать Гильды, этой чудесной, поэтической девушки, умирает пекарь и много других, и не видно конца и краю. Мы с мамусей простояли целый день на базаре. Моросил осенний дождь, и ничего не могли продать. Где, когда конец?!

25 апреля. ...Писать трудно.

26 апреля. Пишу. О чем? Не знаю. О том ли, что погибают люди (из соседей-буковинцев 5 человек погибло, остался один маленький Герман, со второго этажа соседнего дома ежедневно выносят по два мертвеца, сегодня — мать пяти детей), о том, что евреи должны носить знак позора, ходить только 4 часа?

На улице едут и тархтят тачанки. Со стороны Бессарабии перевозят подкрепление на фронт. Везут раненых, как видно, фронт близок. Говорят, Одессу взяли. Кто его знает. Ох, скорее бы, скорей!

2 мая. Вчера моросил дождь, но сегодня Май, да, Май! В эти два дня одна мысль перегоняет другую. Каким контрастом ужасающим — май 1941-го — май 42-го. Сегодня целый вечер я пела (обычно про себя или вполголоса). И лирические песни: мою лю-

бимую «Казачку» («Расшумелся ковыль»), «Орленка», «Дан приказ...». А потом под силой воспоминаний постепенно лирика переходила в марш, патриотический марш: «Мы знамя былых походов...» Та-ра-ра. Бодрый, верующий, сильный. Эх, где она, наша могучая [далее неразборчивое слово], когда она придет? Я верую!

16 мая. ...Я работаю за двоих. Мамуся бессильна. ...Работа — не позор. Только бы не заболеть, только бы пережить. Чтоб нас не выслали. Начинается недовольство. Это уже не крестьянин (я говорю об украинце), который радуется уходу жидо-большевистских «хазяив» и приветствует гнусное фашистское знамя. Но это уже крестьянин, с которого цивилизация Запада за 10 месяцев содрала семь шкур и который начинает сопоставлять, «що, як же воно, то виходить, що там... вже краще», который получает розги и, ограбленный каждодневно, начинает интересоваться «газетою» и фронтом. Это уже не крестьянин, который боялся зайти к жиду — «зарижуть», а крестьянин, который, зайдя к еврею, жалеет его. «Чи знаємо, що з нами ще будэ», который бодрится и надеется. Теперь это уже не тот тыл, который изменил, а который жаждет (за исключением кулака и самой темной, затурканной религиозной части села). 23 года не столько дали колхознику... сколько эти 10 месяцев жизни под кнутом.

26 мая. ...отстраивают снова мост. По румынским газетам — взята [немцами] Керчь, большие кровопролитные бои у Харькова, идут слухи о вступлении Турции в войну. А я — читаю. Попала на один из томов Леонида Андреева. Там есть прекрасные вещи: «Иуда Искарот», «О семи повешенных», «Бездна», «07»... Произвело сильное впечатление переживание людей различных слоев общества перед смертью... И все это так сильно, так сильно, что я невольно зарыдала. Горячий комок стал у горла. Да, это значит писатель, когда читающий книгу через 35–40 лет может вместе с героем и взойти на эшафот, и переживать радость жизни, и плакать. Мама удивленно глядела на меня...

Выслали уже три транспорта буковинских евреев в Сказинецкий лагерь. А теперь идет перепись могилевских евреев. С какой целью? Тоже высылка?.. Плач и слезы вокруг. «Будь что будет — все равно, все наскучило давно, трем богиням — вечным пряхам было прахом, будет прахом». Вот я и в символизм «вдарилась»!.. Очень туманна и темна поэзия, как и наша жизнь, но так же неясна надежда... Увидим, что принесет завтрашний день. В прошлом году [в этот день] сдавала геометрию.

24 июня. ...эти 23 дня принесли много страшных изменений. Это были такие дни, во время которых невозможно было писать, дни,

которые останутся у нас проклятыми — евреев переписали и заговорили о высылке. Могилевские евреи несли жалкие остатки барахла на базар: самовары, корыта, пальто, швейные машины, одеяла, последнюю подушку. Все это продавалось за бесценок... Народ вторично ограбили. «Що, не хочэш взяты марку? (презренная монета), — все одно, даром забэру!» — выражение, слышанное мною на каждом шагу от крестьян, будь то старик или парень — комс[омолец], девушка или молодича. «А як мы у тридцять третим роци все виддавали задаром?» — жестокая правда. «Лучше разбить, лучше сжечь, порвать, уничтожить!» — слышались крики кругом и везде. Официальный законный грабеж. Эти изможденные страдающие лица будут стоять перед глазами всегда.

Потом префектура объявила о том, что нас отправят в лагеря двумя транспортами. Поезд, правда, дадут. Община же (кучка ренегатов, выбивающих деньгу) не имела даже связи с префектурой. Она имела связь с теми органами, которые выдавали продукты, дабы на них спекулировать. И когда община вышла на балкон, чтобы прочесть список первого транспорта, то толпа зарыдала, зарычала. Слезы вдов, сирот, детей, стариков. Люди идут на смерть. И тут рядом крики: «Община идет?» — «Нет, остается?!» — «Ничего, час расплаты настанет!»

Да, как был прав наш Пушкин, когда писал: «Народ всегда к смятенью склонен».

И я шла провожать 1-й транспорт. Шли люди — не люди, согнутые под тяжестью тюков, горя и времени, маленькие серые фигурки, как муравьи. А на подводах старики и дети. Вот 3–4 деток-оборвышей с молодой матерью-старухой, поседевшей от... мало ли от чего? И я шла, и сердце разрывалось. «Прощай, сестра! Проща-ай, мама!» — слезы и крики. Идут на гибель.

Вызывали на 1-й транспорт... Были разделены семьи, дети от родителей и т.д. А солнце щедро поливало землю и смеялось, и со стороны казалось, что все это мираж. Движущаяся картина. Шли люди на базар, на работу, и все шло нормально. Потом оказалось, что оставили специалистов фабрик и кармана. И... снова крики протеста. Но разве есть правосудие, суд? «Но есть, есть божий суд, наперсники разврата, есть грозный судия, он ждет..!» Да, кто доживет, тот увидит. Мама Оскара выхлопотала ауторизацию — разрешение остаться. Я была в отчаянии: они останутся, а я пойду? Но они ушли, я осталась. Прятались два дня. И снова я одна. Ося ушел. Женя ушла, несчастная, со стариками родителями, и все ушли. Осталась горстка. Снова теснота, снова болезни. Нет друзей, одни воспоминания. Где помощь, где исход? Когда?!!

Раскаты грома, все зеленеет свежестью под молодой летней грозой. Запахло озоном. Край тучи золотится солнцем. И кусок неба голубой-голубой, как море.

Июль. Как я отстала от жизни! От хода времени. Я даже не знаю числа.

13 июля. С папкой творится что-то неладное. Каждый раз припадки, головокружения. Сегодня три раза в аптеку ходила вне районов гетто, меня везде принимают за русскую... Один русский читал газету. Я заглянула. Тираспольская газета «Крушевана». Но все же правда, как ни печальна: взят Севастополь, Воронеж, синтетический каучук в руках немцев. Они уже подходят из Египта к родине евреев Палестине.

Сентябрь 1942. Я лежу. Больна брюшным тифом... Немцы терпят поражение от наших контратак, и это чувствуется во всем. Школы не работают. Вывозят все, будет голод, мы прифронт [овая] полоса [подчеркнуто].

14 января 1943. Вечер. Мороз. Клонит ко сну. Безобразная и кошмарная жизнь. Дни идут за днями, черные, безобразные, как осенний дождь... Я потеряла себя, я растаяла во времени. Я хочу себя найти. Пошли мне, жизнь, человека, который помог бы найти себя, разбудить задремавшие струны, чтоб душа не заглохла и я б отошла от этой мерзости... На простор, на свободу и смогла бы протянуть мои руки навстречу великому, нужному делу. О, жизнь, я тону, я совсем потеряла себя...

15 января. Пуд пшеничной муки стоит сейчас 150 марок. Эти цены буквально убивают народ. Дороговизна невероятная. Наступление наших идет по всему фронту. Немцы уже были в Элисте, занимали все Закавказье. Теперь они отогнаны до Ростова. Называют пункты возле Ленин [града?]. Великие Луки, Витебск. В Африке соединились армии союзников. Там, за рамкой наших несчастий, на фронте, жизнь бьет ключом. Люди бьются, умирают, изобретают, идет борьба за власть или за справедливость. Судьба воздаст за миллионы погибших жертв. Немецкие районы очищены от евреев. А мы? — что время покажет.

24 января. ...Сегодня, 24 января 43 г. 3-й год войны, 3-й год еврейского рабства, 3-й год нищеты, унижений и горя, 43-й год 20-го века, века культуры, науки, прогресса... Я спорю с Котляром — скептик, материалист, умеет грубо острить и за словом в карман не лезет. ...В общих чертах, о мыслях, об учебе я рассказала моему собеседнику, а он смеется. Как могу я думать об учебе, об институте? Как смогу я заниматься, жить вместе с народом, который плевал мне в лицо, называя жидовкой? Как? — не знаю.

Он националист, как и тысячи. А я? Я? Меня этот вопрос мучает, вот именно, где-то в глубине, почти уже 2 года. Но признаться, я слишком интернацион [алистка], я слишком люблю мою родину... русскую литературу и русских поэтов, писателей и певцов счастья, музыку и песни.

Но мне жаль, жаль мой несчастный, страдающий народ, который влачит 2000-летнее существование изгнанника и раба, и когда я читаю Л.Ф. [Лиона Фейхтвангера] «Иудейскую войну», о разрушении 2-го храма, мне хочется кричать, плакать, посыпать голову пеплом и плакать, как Эсфирь, Рахиль, дочь Бар-Кохбы. «Слушай, Израиль, един Бог наш Ягве!» Нет. Я не верю в Бога. Но почему я плачу? Где я? Как я найду себя?

25 января. Взятые нашими Харьков, Мариуполь. У крестьян немцы забирают последние продукты. Оставляют по 8 кг на семью. Голод. И вдали горит освобождение.

Я помню, как уже в 1944 году, когда начали появляться наши самолеты над городом, выбежала во двор и протянула руки к небу. Боже! Пусть они сбросят бомбы! Какое это счастье было бы — умереть от этих бомб, только бы рука оккупантов не дотронулась до меня, не осквернила, не зарезала, не задушила.

* * *

Может быть, кому-то записи мои покажутся наивными, с высоты века глупыми, ненужными. Но каждая из них писалась как крик души. Я ведь не надеялась, что кто-нибудь прочтет эти горестные страницы, я не показывала их ни отцу, ни матери — никому. Но мне нужно было в них вылить все, что накопилось на душе, иначе можно было бы, наверное, сойти с ума. Более того, я, как и сотни других, находящихся в гетто, до самого конца оккупации не надеялась, что останусь жить. У меня всегда было такое ощущение, что острое ножа скользит по спине и в любое мгновение может вонзиться в нее. Жила «с ножом в спине». Это было не просто выражение, а постоянное ощущение.

По сравнению с теми миллионами моих соплеменников, что были убиты и сожжены, как мусор, не только уничтожены, но и унижены, моя судьба оказалась счастливой.